E40—
1853

БРАМ ЭФРОС

ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАПАДЕ

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"
№ 196
АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК"
МОСКВА—1926

О ГЕНРИ

ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ

РАССКАЗЫ

№ 120

А. ЗУЕВ.

ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

РАССКАЗЫ

№ 121

МАРСЕЛЬ МАРТИНЭ

ПРОКЛЯТЫЕ ГОДЫ

№ 122

Д. ФРИДМАН

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ МЕНЯЕТ КВАРТИРУ

№ 123

П. БЛЯХИН

БОЛЬШЕВИК МАМЕДКА

КИНО-РАССКАЗ

№ 124

АЛ. ЯКОВЛЕВ

ЖЕНИХ ПОЛУНОЧНЫЙ

РАССКАЗЫ

№ 125

Д. ФРИДМАН

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЕЛЯ МАРАНЦА

№ 126

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

ВЕСЕННИЕ РАССКАЗЫ

№ 127

Л. НИКУЛИН

ПРОТИВНЫЙ СЛУЧАЙ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

№ 128

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

№ 129

ЧАРК КОЛОСОР

КОМСОМОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

№ 130

АРК. АВЕРЧЕНКО

ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ

РАССКАЗЫ О МАЛЕНЬКИХ ДЛЯ БОЛЬШИХ

№ 131

МАРК ТВЭН

ПОЧЕМУ Я ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

РАССКАЗЫ

№ 132

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

№ 133

В. ГЕРЦОГ

ЗАПИСКИ МЕЖДУПАЛУБНОГО ПАССАЖИРА

№ 134

КОНРАД БЕРКОВИЧИ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

№ 135

ЕУО
1853

АБРАМ ЭФРОС

ПОЭЗИЯ ВОЙНЫ и РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАПАДЕ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПЕРЕВОДЫ

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК"
Москва — 1926

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
474-2 19 г.

«Мосполиграф»,
типо-цинкография
«Мысль Печатника»
Петровка, 17. Тираж 14.000 экз.
Главлит № 68659.

ГОСУД. РОСС. ИСТОРИЧ. МУЗЕЙ
№ 474
26-II-1927
БИБЛИОТЕКА

ВВЕДЕНИЕ

Нуждаются ли в комментариях эти страницы стихов? Или достаточно немногих примечаний к эпохе, именам и темам? Уже прошла большая и траурная дата — 1-е августа 1924 года; в вечность отошло целое десятилетие с начала мировой войны. Но наше потрясенное поколение все так же ясно хранит память о пережитом. Окопная жизнь человечества еще полна для нас остроты только что перенесенного страдания. Нам интимно знакомо все: лабиринты траншей; гниение госпиталей; отравленные туманы газов; гигантские гусеницы танок; аэропланные стаи; щупальцы прожекторов; прекрасные человеческие тела — мертвые; ужасные людские обрубки — живущие; земля, колосящаяся железом; города, сквозящие дырами; неизмеримая кровь; неисчислимые слезы; отчаяние, вскипающее революцией; красные флаги, расплескавшиеся по окопам и городам; тысячи, тысячи, тысячи людей, сливающиеся в огромное, освобождающее себя единство; и медленно встающая, кровавая заря новой эры... Каждый образ, каждый намек в этой поэзии мы можем раскрыть сами, без чьей-либо помощи. Мы слышим всякий

ее ритмический ход; нам понятен любой строй ее чувств.

Одна девушка, слушая речь Ленина, сказала мне: «Когда Ленин говорит, кажется, будто это я сама себе говорю». Так мы читаем эти стихи, словно дневник, написанный нашей собственной рукой. Эта поэзия впервые, на протяжении нескольких сот лет, со времени Крестьянских Войн и Реформации, может быть снова названа поэзией Анонима, поэзией глухих людских масс, поэзией, не имеющей автора, хотя под каждым ее стихом можно было бы подписать имя его физического создателя.

Еще у порога войны современный писатель считал долгом своей литературной чести ни на кого не походить. Он был свирепым индивидуалистом по жизнеощущению и по традиции. Но теперь, среди войны, из войны, в это страшное десятилетие, он заговорил каким-то общим голосом. Это был, так сказать, средний, родовой звук человеческой гортани, «Cause commune», «общее дело» — как обозначали французы свою сторону в войне — распространило свои нивеллирующие свойства и на поэзию этих лет. Один из западных ученых, Виллиям Кон, исследовавший проблему стиля дальневосточного искусства, отметил, как нечто наиболее поразительное для европейского культурного сознания, что художник Дальнего Востока анти-индивидуалистичен. Он хочет делать так, как делали прежние поколения. Художник Китая и художник Японии видит свое высшее удовлетворение в том, чтобы его не узнали и не отличили от учителя.— Священный, оправданный пла-

гиат анти-индивидуалистического миросозерцания. Тысяча девятьсот четырнадцатый год надвинул на европейскую поэзию эту безыменность совершенно так же, как серо-желтым шлемом и серо-желтым сукном он обезличил воюющее человечество.

Этому отнюдь не следует придавать лишь иносказательный и условный характер, привычный для писательского пера. Судить так, значило бы забыть действительную жизнь нашей войны. Безымянная поэзия! Она в самом деле была такой в эту пору. Она была рождена неизвестными людьми, носившими имена, неведомые ни литературе, ни читателям.

Из окопной дыры раздавался голос, потрясенный и взволнованный смертью, и в окопной дыре снова затихал. Чей он? — Неуместное и бесплодное любопытство! Голос окопных миллионов, а не имя-река столичной литературы. Имя-реки печатали стихи о войне прекрасной печатью, лучшими шрифтами, на лучшей бумаге; имя-реки носили прославленные имена Клоделя, Жамма, Ростана, Сюареса, Поля Фора или графини де Ноайль, — с аналогиями, немецкими, от Демеля до Лиссауэра, или итальянскими, от д'Аннунцио до Соффичи. А тут были настоящие, действительные безыменцы. Их стихи записывались на клочках бумаги, испятненной дождем, траншейной грязью, — я бы сказал «и кровью», если бы эта боевая действительность не звучала так реторично. Их стихи ползли по окопам, жгли сердца, подтачивали, подкапывали, раз'едали войну и уходили в небытие, уничтожаясь вместе с листом, вместе с солдатом, носившим их в походной сумке. — То,

что уцелело, что издано,— какую малую долю большой «поэзии траншей» оно составляет! Памятник, воздвигнутый в Париже «Неведомому Солдату» — этот символ скорби по всем безвестно-погибшим — покрыл собой и поэзию Неведомого Поэта.

Часто ставят вопрос о ее качественности; говорят о ее недостаточной художественности. Я не знаю, слабее ли она формально, нежели то, что было написано о войне признанными поэтами,— поэтами по призванию и по профессии. Но я думаю, что муза Верхарна была раздавлена колесницей войны раньше, чем сам он так ужасно погиб под колесами поезда. Я думаю, что «le soufflet de la France» («пощечина от имени Франции»), которую прокламирует в «Poèmes de France» «au monstrueux general, baron von-Plattenberg» («чудовищному генералу, барону фон-Платтенбергу»), принц поэтов, Поль Фор, забагровела, увы! на его же поэзии. Я думаю, что риторика Ростана в сюите его военных сонетов, и, прежде всего, в «Jour des-Morts» («Дне поминовения Мертвых») может достойно соперничать со знаменитой «улыбкой президента республики», Раймонда Пуанкаре, среди братских могил жертв войны. Я думаю, что Рихард Демель унизил свою тяжеловесную, но когда-то человеческую патетику, пулеметным пафосом своих военных песен. Я думаю, что знаменитый гимн Лиссауэра это — вой шакальей пасти; что военно-стихотворное бешенство Маринетти подлежит ведению не литературы, а медицины; что «1914 год» тогдашнего Сергея Городецкого есть «кузьма-крючковство», убившее небольшой, но в то

время еще свежий талант. Я даже решаюсь думать, что «Poèmes de Guerre» («Поэмы о войне») — эти судейские тяжбы с господом-богом, эти приходо-расходные росписи доблестям, грехам и возмездиям — далеко не на высоте великолепного и глубокого дарования Поля Клоделя. И я думаю, что знаю (так как это знает сейчас каждый писатель), отчего лишь щепоткой пыли, лишь серым катышком стало творчество лучших поэтов в эти годы испытания, когда их голос мог звучать особенно сурово и веско.

Они не сумели хотя бы помолчать. Они вдыхали пар человеческой крови, соперничавшей с дождями в орошении земли,— и пьянели. Они пифически славили и освящали то, что было ужасом и позором человечества. Следом за ними, по их примеру, младшая братия прошла по литературе ордой. Она была уже растлена. Она плясала среди трупов. Никогда поэзия не произносила более бесстыдных слов и не делала более отвратительных жестов. Среди боевой лирики древних монгольских князьков нет равного тому, что было написано за первую половину войны, за трехлетие 1914—1916 годов. Эта поэзия поторопилась увековечить себя. Уже в начале 1915 года стали выплывать в свет антологии и сборники «Poètes de la Guerre» и «Kriegsdichtungen»,— спустя всего несколько месяцев после об'явления войны. Там заботливо запечатлены эти кроваво-сантиментальные гимны «Пушкам, цветами увенчанным», эти безумные акафисты «Au 75» — семидесяти пяти миллиметровым орудиям, эти псалмы, радующиеся гниению вра-

жеских трупов, эти изощренные издевательства над национальным, физическим облико́м противника,—и прочее, и прочее, рожденное развратной и поощряемой к разврату фантазией! Это был литературный алкоголь, которым спаивали солдатскую массу. Листки, сборники, книжечки стихов засыпали траншеи. На каждом солдате они были такой же неизбежной принадлежностью, как окопные вши. На русском фронте — я помню — на каждом убитом, на каждом пленном немце мы находим какую-нибудь «Dein Fahneneid» («Твою присягу»), или барабанную «Sie gehen nicht durch!» («Враги не пройдут!»).

И вот среди этой-то кровавой муги поднялась Песнь против Великого Преступления. Таково было заглавие второй из книг П. Ж. Жув.: «Le chant contre le Grand Crime». — Великое Преступление! Поэзия Великого Преступления,— да, так нужно назвать настоящую поэзию войны, поэзию «войны солдат», поэзию безвестных поэтов, решившихся бросить свой еще неведомый, невнятный, глухой, окопный голос против реторики смерти, созданной командорами литературы.

Первая же книга называлась простодушно и прямолинейно: «Vous êtes des Hommes!» («Ведь вы же люди!»). Это был крик о человеке и человечности. С тех пор прошли годы, много лет, десятилетие, но нельзя без волнения читать ее строфы. То не был еще колокол «Проклятых Годов» («Temps maudits») Мартине; то был лишь простой крик отчаяния скромного, но потрясенного человека. Однако, история запомнит имя этого «poète inconnu», нашед-

шего впервые слова мужественной правды о войне. «Vous êtes des Hommes» П. Ж. Жува была первой книгой поэзии (1915), написанной против войны. Ее голос был голосом каждого:—«Я ведь только песчинка, только некто Европы,— но когда молчат даже могучие горла, как же не крикнуть мне о нашей общей боли?..» («Европе»).

Это означало, что политический лозунг «Долой войну» становился простым, внутренним, обиходным лозунгом. Самые дешевые слова — «человек, человечество», «человечность» — теперь неожиданно стали самыми драгоценными. Они были опять извлечены на свет,— нет, они были как бы впервые открыты! Их несли такими бережными руками, словно это было что-то страшно хрупкое и не выносящее крепкого прикосновения. Но в заглавиях книг, в строках стихов, они стояли уже прочно и тяжело, точно слова варварской свежести,— многопудовые камни среди легкой стройки. Что же! у них был вес всей пролитой на войне крови.

«Homme», «Humanité»,— «Mensch», «Menschheit»,— перекликались из окопов поэты. Были сделаны поразительные открытия. Оказалось, что у врага есть человеческое сердце, что враг врагу может сказать: «Товарищ!». «Le coeur de l'ennemi», «Kameraden der Menschheit» называли себя сборники этой поэзии, посвященные братанию солдатских масс обеих линий.

«Поэты Германии,— о, вы, незнакомые братья...», гудел колокол Мартине.

«Брат, я услышал твой крик...», отзывались немецкие строфы Карла Оттена.

«Я пою для вас, о, народы, о, исконные соперники на единой земле, где так легко было бы жить вам единой жизнью...», плыла над траншеями песнь Жува.

«Сердце мое велико, как слияние Германии и Франции!», шли навстречу стихи Вильгельма Клемма.— Поэтический центр был перемещен. Магистраль проходила теперь здесь. Официальные мастера были отодвинуты. Военная риторика выветрилась. Поэт, который носил в себе будущее, уходил сюда. Сюда пришли Дюамель, Ромен, Вильдрак, Шенневьер; здесь сошлись Цвейг, Газенклевер, Верфель. Писательский интернационал — «Clarté» тех лет — начинал вновь соединять разобщенную культуру Европы. Кровавому романтизму, воспевавшему смерть «маленького сенсирца» Алена де Файоля, пошедшего в атаку в белых перчатках и с султаном на кепи («...Ganté de blanc Fayolle a remis son panache» — Э. Ростан; «Tu mis à ton képi ton plumet de Saint-Cyr» — Р. Бертон) — ныне противостояло короткое и тяжкое слово: правда.— Правда о войне, война, как она есть: «De la mort, des haillons, de la grasse... voila. C'est sale et triste!» — «Смерть, нечистоты, лохмотья... вот она. Это грязно и грустно!» (Henri Jacques, «Nous de la Guerre...» — Анри Жак, «Мы, воюющие...») — поистине солдатская формула войны в поэзии, формула бессмысленности страданий и смерти миллионов.

Однако, эта бессмысленность продолжалась еще целое трехлетие. Писатели и поэты были только пацифистами. Благородная проповедь Роме-

на Роллана о мире, немедленном и братском, была для них определительным образцом. Поднять революцию против войны, убить войну революцией — означало для большинства из них лишь смену одной войны другой войной. Они же хотели мира, только мира. Но ведь мир пришел в кровавом версальском обличье; война продолжалась. Она только изменила маску. Как могли они, умевшие взять себе героем уже не Алена де Файоля, а Карла Либкнехта, и славившие его «великое красное слово «нет!», принять такой мир? — Они любили Либкнехта, восставшего против военных кредитов, но не Либкнехта, ведущего на баррикады. Мир, пусть версальский, убрал с их глаз ежедневную повинность смерти. Этого было для них достаточно. Людская масса — номерные существа номерных полков — расслоивалась. Каждому возвращалась его индивидуальная жизнь. Окопный незнакомец становился поэтом среди поэтов, продолжая профессиональное существование писателя, или умолкал вовсе, заняв место за бюро в банке и за прилавком в магазине. Его линия, начатая в траншее, обрывалась. Оставались продолжать дело немногие. Но они должны были стать теперь уже политиками, партийцами, людьми социального дела. С жизненной неизбежностью это отодвигало у них поэтическое творчество на задний план. «Теперь тебе не до стихов...», по-тютчевски вынуждены были говорить они. Их поэзия, их проза набегала лишь от случая к случаю. Этот случай мог иногда разрастись в короткую революцию, как в ноябрьской

Германии 1919 года, и тогда поднималась поэтическая волна, вынося Бехеров, Толлеров, Бартелей, Мюзамов. Но он мог и заставлять себя ждать год за годом, и тогда волна опадала совсем, превращая поэтов и беллетристов даже в политиков чистого типа: тому примером — Анри Барбюс. Таково положение на Западе теперь. Там есть стихи революционеров, но нет революционной поэзии. Это следствие очень короткой и очень смешной истины: чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь зайца.

Мечтающие обращают глаза на Восток, к нам: «Jm Osten wächst das Licht... Die goldene Sichel! Und der goldene Hammer!» (И. Бехер) — «С Востока брезжит свет... О, серп златой! И ты, златой мой молот!..»

Для этих немногих наша революция стала обязательной темой. Мартине, Бехер, Шенневьер, Мюзам, Пиош, Бартель, Гильбо поэтически приветствовали ее. Иначе и не могло быть, раз они продолжали судить о настоящем и думать о будущем. Октябрьский переворот был критерием для одного и залогом для второго. Правда, из своего далека они восприняли русскую революцию несколько упрощенно и однообразно. Ее трагической сложности и ее напряжения они так и не разглядели. Мы даже чуть-чуть улыбаемся, читая эти прямодушные стихи... Среди нашей огромной и трудной действительности они звучат немного наивно и простовато. Революция отражена ими слишком, я бы сказал, маршеобразно. У одних — это барабанный бой и «ура!» (Мюзам, Бартель); у других — барабанный бой и «бей!» (Бе-

хер); у третьих — барабанный бой и «на молитву!» (Мартине); у четвертых — негативная разновидность того же характера, своего рода «похоронный марш» (Шенневьер). В этом упрощенстве есть даже что-то от традиционной «развесистой клюквы». Это, повидимому, вообще свойственно каждой попытке дать русский колорит». От «полярного сияния», освещающего Россию у Мартине, до припева «dorogaja!» («дорогая!»), почему-то приглянувшегося Бартелю, по всей группе этих стихов разбросаны клюковки. Даже Анри Гильбо, написавший, в конце концов, лучшую поэму о России 1919—20 годов, не избежал этого, хотя он долго жил тогда среди нас, видел все, знал всех, побывал всюду, и к его клейкой памяти журналиста и политика пристали с убедительной точностью детали советского быта и советской Москвы тех лет. Но ему, в «Kraskreml»'е, оказались дороги эти «valenkis», «papirossi», «blini», «vodka», «Wassili le dwornik» («валенки», «папиросы», «блины», «водка», «Василий-дворник») и т. п., точно это является пломбой, гарантирующей читателям настоящее качество предлагаемого изделия.

Но, если мы и улыбаемся, то незлобиво. Эти слабые и смешные черты легко стираются страстным товарищественным пафосом, огромным сочувствием нашей стране, затопляющим эту поэзию. Оно переплавляет и очищает все. Оно настойчиво напоминает читателю, что это вовсе не «только литература». Как и «поэзия окопов», это прежде всего — поэзия д е л а. В годы ненависти и клеветы, давления оружием и измором, печатать urbi et orbi

поэтическую хвалу и защиту русской революции — значило реально бороться на ее стороне. Марсель Мартине, бывший и здесь первым, это понимал. Он высказал это во всеуслышание с обычной прямотой и ясностью. Последние стихи его «Проклятых годов» уже смешивались с песнями, которыми он приветствовал революцию в России. Книжечка 1920 года, где он собрал их, так и называлась «Pour la Russie». Для запада в то время это значило: «За Советскую Россию». Это была настоящая кампания помощи, массовая агитация. На заглавном листе брошюрки стояло: «Читайте и передавайте другим». Книжечка стоила десять сантимов — одну копейку на наши деньги. На ее издательской марке, с лозунгом «мир народам», была изображена рука, поднимающая сломанное надвое ружье. Мартине учил публицистикой своего предисловия и стихами своих поэм, что судьба русской революции есть судьба трудящихся всего мира: «Если мировой империализм раздавит Россию, история назовет нашу страну убийцей русской революции... У женщин там нет молока, дети погибают от холода и голода, ибо мужчинам там есть лишь одна работа: защищать революцию против ваших нападений. Кровь лежит на деньгах, которые вы приносите домой. Поглядите на детей и жен; когда там, в России, люди будут побеждены вами, и ваш час будет уже недолог».

Здесь говорил общий голос этой «Советской поэзии запада». То же самое, почти теми же словами, писал Шенневьер в «Poème pour un enfant russe»

(«Поэма о русском ребенке»); она тоже была выпущена в виде массовой листовки, в издательстве «Fêtes du peuple», в 1919 году; а в Германии молодой Бехер и старик Мюзам бурно состязались пламенностью, прямолинейностью и безоглядностью своих призывов и лозунгов.

Шли труднейшие годы русской революции. Она была в критическом зените. Каждая крупица была на счету. Поэты Запада бросили и свою долю на весы. Это нужно знать. Переводы их песен и раздумий — запоздавшая и малая выплата нашего общего исторического долга им.

А. Э.

П. Ж. ЖУВ

ЕВРОПА

(Фрагмент)

Песнь Европе!
Петь о Европе! За Европу надеяться!—
Я ведь только песчинка, только Некто Европы,
Но, когда безмолвствуют даже могучие горла,
Как же не крикнуть мне о нашей общей боли,
Как же не отпустить мне на свободу душу —
Горделивую и жалкую — живущих и умерших?

■

Как пловец нерасчетливый, о скалы брошенный валом,
На миг измерив море, в ослепленьи поет еще,—
Так и я пою песнь за вас, о, народы,
О, други, милые нашим взорам и мыслям.
Я пришел в эту жизнь, чтобы отдать вам сердце,—
Вам исконным соперникам на едином пространстве.
Где так просто жилось бы единой жизнью
На единой земле, столь счастливо очерченной,
Омываемой морями, в равновесии солнца и холода,
Искони покоренной, искони обработанной,
Велико-волшебницы, ясноглазой Европы!

■

Я вас всех обниму чарованием песни,
Свободней, чем ветер на ваших взморьях,
Слышнее, чем гул в ваших столицах,
Могучей, чем грохот ваших пушек,—
О, народы России, Франции, Германии или Англии,
К которым сопричислю я все другие народы,
Мирно-свободные среди здоровой жизни.

■

О, народы, народы любимые!
Слушайте не язык мой, но этот звук моей песни,
Не французской или немецкой, но иной, несравненно прекраснейшей,
Не обводите стенами этой великой и честной песни,
Затем, что она возникла в едином горниле народов:
Я слышу ее на Кавказе и на ледяных равнинах Пруссии,
И слышу ее в Париже — голоса единичные, смутные —
И слышу ее на море — ее поет матрос со своей мачты —
Поют под солнцем Голландии и поют под солнцем Испании,
До многомощных водопадов Америки эта песнь течет и ширится.

■

— Для чего ж задавать вам вопросы и к чему вам еще противиться?
О, народы, народы любимые!
Эта песнь до вас донесется, вопреки Закону и Дисциплине,

Вопреки Послушанию и Патриотизму, она вас
пронижет собою,
Она ищет вас с истинной жалостью, она любит вас
с истинной яростью,
И вы ее тоже примите с истинною свободой!

■

Я вижу Германию,
Твердо насыщенную сорокалетием своей славы,
Закаленную, как человек, совершивший дурное дело;
Вижу Фихте и Бисмарка и вижу тех, что за ними —
Банкиров и Нобилей, и этих крестьян Империи,
И эту интеллигенцию, и это Евангелие Империи,
И этот немецкий народ, развращаемый во имя
Империи.

■

Я вижу Англию, эту поэму Прибыли,
Эту могучую поэму судов, туманов и чисел,
Непреклонного обогащения,
Осязаемой веры и осязаемых денег,
Чья стяжательная мысль держит вахту на всех
океанах.

■

Я вижу Россию, ее товарищескую спаянность,
Ее волю к жертвам и волю к властительству,
Ее душу стремительную и покорную —
Она раскинулась на двух материках
И все же тянется дальше, к Востоку.

■

И я вижу Францию (я о ней говорю, как дитя ее),
Раскаленную пламенем традиции и пламенем всех новаторств,
Мужественную в борьбе и, однако же, раз'единенную,
Робкую, нерешительную, страдающую, но вечномогучую,—
О, моя родина, Франция, первородная дочь Революции!

■

Я вижу их всех сегодня, эти великие, старые народы,
Распаленные человеческой подлостью и человеческим бесчестием,
Гнущиеся под их тяжестью, как человек раздавленный горем:
Но, увы, ни один не поступился своей великой жадностью,
Ни один, увы, не оставил властного соперничества,
Ни один, увы, не вспомнил о любви простой и человеческой.

■

Вот и случилось, что дружное, золотое равновесие мира
Рухнуло и разбилось.
Уже больше никто из людей не узнает летнего счастья,
Отныне ночью и днем неустанно пылают горны,
Добро и милосердие умерли, едва загудела буря,
Каждый человек стал иным, у всех напружинились мышцы.

■

И мне, мне тоже кажется, будто я лишь сейчас проснулся,
Девственными глазами, глазами иного мира,
Я окидываю целостность проносящихся событий,
Дабы о них свидетельствовать пред истоком всего живущего.
Вижу армии, умерщвляющие Бельгию. И пою великую песнь о беззаконном убийстве.
Никому не должно быть прощено оно, никому не должно быть забыто.
Я исполнен рыком и яростью, я пишу эту песнь страдания,
И нескончаемо развертывается нескончаемое зрелище,
Заполняя душу и мысли и живущих, и только рождающихся.

■

Вижу миллионы голов, низко гнущихся в траншеях,
Слышу миллионное эхо стрекочущих пулеметов.
О, эти населенные траншеи, — мертвецы, лежащие рядом!
Не навек ли так будут лежать эти мертвые рядом с живыми?
И дальше, там, позади этих мертвых и этих живых еще,—
Шесть великих народов:
В голоде и надменности, и лжи, и безобразии.

■

А я, подобно ручью, бьющему меж холмов в ложбине,
Подобно роднику, просекающему дорогу в лесистой чаще,
Так я иду вперед меж скорбями моего времени.

■

О, народ! вопреки всему, будь крепок и неразрывен;
Не беги, но крепко лелей всходы грядущего мира;
Не теряй благоволения и мужества;
Бодрствуй над человечностью; блюди в себе Свободу;
Прислушайся: среди выстрелов, грохота и разрушения
То ее старинный голос, — тебе ль его не расслышать?

■

Сегодня, в весенний день, я пишу эту вольную песню.
Взгляните: нагие стволы и прелесть осыпи листьев.
Взгляните: играют дети, вьется вдоль плетня дорога.
Слышите ль эту юность, это тепло, эту землю и небо?
Слышите? — То мои строфы вам раскрылись в в последней тайне:
Уже над всеми живущими, еще бьющимися в кровавых схватках,
Сегодня восходит снова, снова восходит Солнце!

■

Пронизываемый болью, я весной писал мою песню...
О, Европа!

■

ЖЮЛЬ РОМЕН

ЕВРОПА

1

Первый крик жалобы, или первый звук гимна,
Этим надломленным утром, выскользнувшим из тумана,
Но уже тронутым пятнами осени!
Шестьдесят дней уже пребывает в войне Европа,
Европа, моя страна, которую собирался воспеть я.

Каждое утро еще нежит сердце; плоть человеческая
Еще радостно отдает себя свежему воздуху мира,
И кровь еще приемлет нежную помощь солнца.

Но вечер тычется в нас мокрой своею мордой,
И блещущий тротуар кидает под ноги небо,
С тех пор как осень обвесилась этими дождями,
Проносившимися одиноко, без эскорта громов и счастья.

Европа, страна моя, стала добычей армий.
Шумит под землей континент, словно мешок со змеями,
Окуренными дымом, проснувшимися и жалящими друг друга.
Города, подвернувшиеся, трещат у них под зубами.

И Франция, связующая мое тело с Европой,
Множество, меня растворившее, продлившее меня собою,
Почва моих раздумий, земля моего народа,
Дерево, нависающее словами моей поэмы,
— Франция оккупирована от Вогезов до моря!

2

Европа! Я не приемлю
Твоей смерти в этом безумьи.
Европа! Я кричу им,
Что они еще услышат тебя, убийцы!

Европа! Они затыкают
Нам рот, и все же наш голос
Пробивается всюду, словно трава сквозь камни.

Пусть они грохочут,—
Я им тихо напомню
Тысячу людских радостей.

Пусть они злодействуют,—
Я останусь хранителем
Немногих людских вещей.

3

Все деревни Европы
Умирают на фронтах армий.

Умирают далеко, человек за человеком.

Мобилизация взяла молодых.
Мобилизация взяла стариков.

Мобилизация взяла также
Чахоточных и хромых.

Мобилизация цепкой рукой
Взяла даже юнцов.

Терпенье! На фронтах армий
Голод еще не утолен.
Есть еще дети и женщины!

Слабеют деревни Европы.
Понемногу они редеют.
По их плоти пошли завалы;
Пролежни — здесь и там, и дальше.

— Солнце греет все те же стены!
Всходит запах античного пламени
В шуме листьев и жужжанье мошек.

Но этот треск!
Крыша прогнувшаяся
Над дырой, над нежданной пробоиной.
Жилище, внезапно осевшее
Над местом человека, только что убитого.

Слишком много скопилось жизни
В деревнях, слишком тучных плотью!

Терпенье! Скоро останутся
Лишь пустыри, рябые от гнили.

М. МАРТИНЕ

ПОЭТЫ ГЕРМАНИИ, О БЕЗВЕСТНЫЕ БРАТЬЯ...

(Фрагмент)

Поэты Германии, о безвестные братья,
Вы, в рядах затерявшиеся,
На равнинах, изрытых снарядами,
На бескрайных дорогах,
Среди тысяч понурых товарищей,
Среди отсталых, бессильных, озлобленных;—
В безглавых лесах,
В расселинах гор,
Настороженные, вечно ждущие гибели; —
В жидкой грязи траншей,
Лежа в моче и в крови,
Видя гниение трупов,
Кинутых в двадцати пяти метрах,
И днями, и днями, и днями
Слушая только смерть; —
Вы, в рядах затерявшиеся,
О, одинокие,
Как и все — умирающие и страждущие,
Убивающие вместе со всеми убивающими,—

Вы глядите тоскующим взглядом, о, други мои
затерянные,
Как неслышно спускается ночь над безлюдием этих
селений,
Как горький светлеет рассвет над неведомыми
лесами,—
И души ваши плывут к беглецам из этих селений,
И к вашим родным местам, быть может, столь же
пустынным,
И в памяти вашей встает недавний и мирный труд
ваш
И дружба, и любовь, и все погибшее счастье,—
И взор ваш тоскливо считает, ввергаясь в кровавую
бойню,
Истерзанные тела неведомых вам друзей...

КАРЛ ОТТЕН

МАРСЕЛЮ МАРТИНЕ

Брат, я услышал твой крик,
Когда поезда давили меня,
Нагруженные новыми братьями.
Дождались их девятнадцати лет, чтоб, наконец, их забрать по закону.
Нынче глядят на детей, щупают их тело, их мускулы
И спрашивают себя: скоро ли?
Матери боятся смотреть, как дети растут, поднимаются,
Они хотели бы спрятать их, запретить им ходить по улице,
Усыпить бы их в детской люльке.
Но два-три года, и вот — кончилось мирное счастье.
И я, как все они, жил тою же общей жизнью.
К чему ж о ней говорить? — не то же ль повсюду, о, брат мой?
На всех площадях и улицах: мертвые, мертвые, мертвые.
Реки набухли мертвыми,
И в небе, как перелетные птицы, облака сочатся кровью,

Я знаю: больше не будет уже ни утра,
ни вечера,
Всюду бледной рекою теснятся скелеты: в трамвае,
В парках, в кафе, в церквах — всюду их горькие
тени,
Точно руки высовываются из недр погребов
и подвалов,
Скользят по перилам каналов, цепляются за
штаны прохожих,
И в наших опустевших комнатах
Вот они: трое, шестеро, двадцать шуршат моей
рукописью
И тычат кровавыми пальцами, и кричат презри-
тельно: «Вот он!»

Я знаю, и ты там ночью
Мучишься страхом, брат мой!
Твои мысли золотыми пчелами,
Ночными бабочками садились на лоб нам,—
Мирною ночью, ласковой матерью, детьми расцве-
тающими.
Твои слова меня вырвали из безумного зева
машины.
(О, как ее ненавидим мы, эту пасть ледяную
смерти!).
Долой технику! Долой машину!
Долой ваши адские изобретения,
Ваши газы, ваши танки, ваши мины и ваши
окопы!

Проклятие вашим конструкторам, вашим инженерам,
жадным к убийству.
Проклятие шутовскому веку — идиоту машины и
фабрики.

■

Вот я опять пред тобою, ты открыл мне глаза,
взял за руку,
Ты пожимаешь ее: да, это ты — узнаю тебя!
Я им всем говорил, что ты тут, и что нет больше
ненависти,
Что враг, это — вымысел машины, и что лишь
человек есть истина,
Что правда, вся надежда, и правосудие еще есть
в этом мире.
И что нет: Машины! Техники! Врага! Истребления!
Их надо вытравить, вытравить,
Ибо есть лишь одно — Человек!

■

Все мы бежали, все — от лесов с крылатой листвою,
И падали на колени, и в жалкую грудь себя били:
Прощенья!
Не я лишь, бедный поэт в очках, бредущий по
улицам,
Но все мы, миллионы, миллионы, мучились стыдом
и раскаянием.
Поверь же нам: эти виденья, насилье,
проклятье, марево,
Эти крики, речи, клятвы, удары, ярость — мы сами:
Это — страх наш, глупость, безделье, наша подлость
и наше неверие.

И вот мы теперь не знаем, куда пролегает наш путь,
И что есть утро и вечер, и что есть вчера и сегодня.
Нас гонит безумье позора.
О, братская длань, укажи мне
Дорогу к тебе!
О, братское око, проведи меня
Сквозь эту ночь!
О, братское сердце, прозвени мне
Свободу вновь!
О, братская длань, подай мне
Скорей сигнал!
Скажи, когда зазвучит нам Твое слово, Твоя вечная песня?
Ибо мы ждем, что настанет час, и все армии, братья и дети,
Наконец, познают друг друга и откроют друг другу об'ятия,
И будет из их сердец навеки исторгнут враг.

ЭРНСТ ТОЛЛЕР

СОЛДАТЫ

Мне не забыть потухших лиц товарищей моих,
Когда на площадях казарм дрессировали их.

Их взгляд ослеп, их волю гнет война четвертый год,
Уже в них умер человек, и скоро жизнь умрет.

Ах, даже девки в кабаках портовых городов
Сквозь слой румян блеснут порой улыбкой милых слов.

Но неподвижен мертвый смех товарищей моих.
О бог! о мир! о человек! — вернется ль жизнь для них?

В ТРАНШЕЕ

Бродит старуха взад и вперед,
Тише — старуха к нам идет!

Бродит она всю ночь без сна,
Кровью безумна, шумом пьяна.

Встретит солдата — целует в рот
(Бродит старуха взад и вперед).

Мы в блиндаже залегли втроем,
Трое нас здесь, укрытых в нем.

Тише — старуха к нам идет!
Слышите — мимо она бредет,
Стойких убила и нас убьет!..

Слезла в окоп и умолкла вдруг —
Спать улеглась, свернувшись в круг.

Мертвый солдат у нее меж рук...

В стуже ночной старуха храпит,
Спит старуха, траншея спит...

Напрягши слух,
Стоит часовой,—
Не бойся! — старуха
Спит в луже гнилой.

Звякнула проволока...
Мышь из дыр
Мешка гнилого
Тащит сыр...

Спит старуха, траншея спит.
С неба бежит,
Шумя над нею,
Дождь в траншею...

■

Спите! — старуха
Рано встает...
Спите, покуда
Смерть не идет.

Режет ракета
Мрак ночной,
Падает света
Дождь золотой.

■

Трупы лежат
Без крестов и плит...
Живые спят,
Старуха спит...

■

В мерзлом окопе, в рассветный час,
Встала и трет свой круглый глаз.

Напрягши слух,
Стоит часовой,—
Держись! — старуха
Следит за тобой!

Глаз слезится,
Холодно ей:
Крови напиться
Надо скорей.

Стучит костями,
Зубами бьет,
Декабрь ветрами
И стужью льнет.

Гей, потаскуха,
Твоя пора,
Спеши, старуха,
Любить с утра!

Похоть терзает
Гнилую грудь,
Рот не знает
К кому прильнуть.

Цельсия смело,
Хватай быстрей —
Солдатское тело
На заре горячей!

Сквозь дождь глухой
И монотонный
Рассвет над сонной
Встает землей...

Из каждой ямы встает мольба,
В каждое сердце стучится судьба.

Земля осыпается
Под ногой,
В яму спускают там
Труп нагой...

Кто-то стонет:
«Тоска... тоска...»
Трубку уронит
Иль штык рука...

Опять она
Без сна
Рыщет,
Ищет
Любовь,
Кровь
Ищет...

День встает
Сквозь дождь упорный.
Эй, дозорный,
За кем черед?

ПЕРЕД АТАКОЙ

16 часов 15 минут.

Еще пять минут — и я буду там,
У разбитой стены, прижавшись к камням.

Страх, вцепившийся в руку мне,
Жизнь мою охранит в огне.

Я побегу сквозь смерть и ад,
Бедный человек и усталый солдат.

В сердце мое забившийся страх
Скроет лицо свое в руках.

Бледным, бледным стало оно
И слезами искажено.

■

Еще пять минут — и я буду там,
У разбитой стены, прижавшись к камням.

Бедный человек и усталый солдат,
Я побегу сквозь смерть и ад,

Красные руки вверх подняв,
В липкую грязь лицом упав.

■

16 часов 20 минут.

«Вперед!»—то не злобы темный крик
Из сердца нашего возник,

Не кровь и не месть у нас на устах,
Но вся любовь в простых словах,—

«Вперед!» — то сердца безумный бой
Ведет нас к смерти за собой,—

То сердце к гибели нас ведет,
Ослепнувшее от забот,—

То страх, поднявшийся во весь рост,
Стучит клюкою о погост,—

Стучит, стучит своей клюкой,
Идя тропою гробовой,—

Чтоб в смертный миг нас обмануть
И в смертный взор весной блеснуть,—

Чтоб прежде, чем настигнет мгла,
Нас жалость за руку взяла

И нам разверзла пелену
В обетованную страну.

Ж. ДЮАМЕЛЬ

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ С РАЗОРВАННЫМ ГОРЛОМ

Брат, с разорванным горлом, — молчи!
Твой взгляд мне яснее всяких слов,

С меня довольно раны твоей,
Бегущей, пульсируя, до виска,

И этих метаний твоего зрачка,
Широко раскрытого под тенью век,

И этого тела, открытого мне,
Подобно тетради, где я писал;

Я знаю его до малых ногтей,
До жестких складок этих колен,

До этих от ветра бурых ушей,
До этих венами вздутых ног.

Брат мой, пойми,— если ты дрожишь,
Как тополь под ветром, и я дрожу;

Если рвется кашель в твоей груди,
Радости нет и в моей груди;

Если хрип разрывает твою гортань,
Может ли петь моя гортань?

Если ты не в силах уснуть эту ночь,
Как же и мне уснуть эту ночь?

Так-то, о, брат мой, молчи, молчи,
Не напрягай окровавленных вен,—

Лучше лишь просто гляди мне в глаза,
Лучше лишь в сердце мое гляди,

Лучше лишь в руку мою вложи
Большую, слабую руку твою;

Бедный брат мой, молчи, молчи,—
Ты, что так много мог бы сказать!

БАЛЛАДА О СОЛДАТСКОЙ СМЕРТИ

Он боролся целых двадцать дней,
А его мать сидела возле него.

Он боролся долго, солдат Прюнье,
Ибо мать не пускала его умереть.

Когда весть пришла к ней, что ранен он,
Из далекой провинции она собралась.

Она долго шла по гремящей земле,
Где огромная армия зарылась в грязь.

У нее редкие волосы и жесткое лицо,
И она не знает, что значит страх.

Она двенадцать яблок принесла с собой
И свежего масла в глиняном горшке.

■

День за днями она сидит
У койки, где умирает солдат Прюнье.

Она приходит в час, когда идет стрельба,
И сидит пока не начнется бред.

Она выходит на миг, когда говорят: «Уйди!»,
И начнут ковырять его бедную грудь.

Если б ей позволили,— она б не ушла,
Ведь не чужая рана, а сына ее!

Как же не слушать ей, как он кричит,
Пока она ждет у дверей, среди луж?

Как собака, от койки она ни на шаг,
Она уже больше не ест и не пьет,—

Не ест ее сын, солдат Прюнье,
Пожелтело масло в его горшке.

■

Руками корявыми, как корни дерев,
Она гладит худую руку его.

Она не отводит упрямых глаз
От белого лица, где струится пот.

Она видит шею в веревках вен
И слышит дыханья мокрый хрип.

Она видит все, не отводит глаз,
Сухих и жестких, как ком земли.

Она не уронит ни одной слезы,
Ибо так должна держать себя мать.

Он скажет: «Мне кашель разрывает грудь»,
А она отвечает: «Ведь я же здесь».

Он скажет: «Я думаю, мне конец»,
А она отвечает: «Не пущу, сынок».

■

Он боролся целых двадцать дней,
А его мать сидела возле него.

Так старый пловец, плывя по волнам,
Слабое держит свое дитя.

Но однажды утром изнемогла она
После бессонных двадцати ночей.

Она свесила голову на один лишь миг,
На одну минутку забылась сном.

Тогда умер быстро солдат Прюнье,—
Тихо, тихо, чтоб не проснулась мать.

■

В. ГАЗЕНКЛЕВЕР

УБИЙЦЫ СИДЯТ В ОПЕРЕ

Поезд разбился. Двадцать детей убито.
Летчик бомбами все в куски разнес.
Но это неважно, и это забыто —
Убийцы слушают «Кавалера Роз».

Солдаты жмутся вдоль стен, как собаки.
Генерал орденами в авто проблестел.
Дезертиров, не выдержавших безумья атаки,
Именем императора ведут на расстрел.

Встань, дирижер! Вон из-за пульта!
Ты людей убиваешь,— ты весел, мясник!
О, как гулок бой предсмертного пульса,
И, не правда ль, как звонок предсмертный крик?

Человек стал дешев, а хлеб стал дорог.
Офицеры фланируют взад и вперед.
Сожгли два города и сожгут еще сорок.
Из братской могилы мой труп встает.

Желтый лейтенант рычит мне в ухо:
«Молчать, свинья!»—Я тянусь по швам.
Скелет сквозь саван звякает глухо.
В могильном рассвете я сер и прям.

Поле чести меня сюда изрыгнуло.
В королевскую ложу я вхожу, как тать.
Нагих лебедей караван потянуло
Сквозь золоченые двери в фойе гулять.

Они держат в когтях кровавое сало —
Где-то бедный растерзан гренадер иль матрос.
Две тысячи ночью сегодня пало.
Убийцы слушают «Кавалера Роз».

Инвалиды в отребьях подаянья просят.
В ресторане славит войну мастодонт.
Врачи привиденьям лекарства разносят.
Толстый король уехал на фронт.

«Здесь, ваше величество, решалось сраженье!»,—
Фельдмаршал тычет в какую-то даль.
В награбленном серебре подают угощенье.
Золотится шампанским чужой хрусталь.

Без отдыха трудятся военные трибуналы.
Смерть ставит печати на кипы бумаг.
Спеши, дружище, — ты получишь не мало,
Если им предашь меня. Ведь я же враг!

Огромный фельдфебель с наглой рожей
Несет свою тушу, багров и строг.
Карл Либкнехт на площади еще кричит прохожим:
«Долой войну!». Его тащат в острог.

В опере герои под марши скачут.
В каменных мешках голодаем мы.
Истомленные узники стоят и плачут
У железных решеток вечной тюрьмы.

Страны поделены. Белеют кости.
Души камень дробят под звон оков.
Строят памятник жертв на мировом погосте,
Рекламным столбом для всех веков.

Бьют в барабан. Его раздирают звуки.
Стала кровь — водой, и едой — отброс.
О, бедная родина,— что твои муки?
Убийцы слушают «Кавалера Роз».

АНРИ ГИЛЬБО

КАРЛ ЛИБКНЕХТ

В жарко наполненном, наэлектризованном зале
Канцлер держит речь, торжественный и важный:
— «Война об'явлена, и мне нужны кредиты»,
И единодушно встают с мест депутаты,
Все подымаются, и все голосуют,—
Все.
И он тоже! Молнийноглазый,
Он, как и все, вотирует, он одобряет кредиты,—
Нервной рукой, поправляя на носу нетвердые стекла.
Он, как и все, вотирует, он одобряет кредиты,—
Он тоже.

Выйдя из залы, о ждущих друзьях не думая,
Он широкими шагами идет вдоль канала,
Глядя рассеянным взором на привязанные барки,
На монотонные здания, тянущиеся в геометрическом
равнении,
На движущиеся пятна людей, бегущих по улицам.
Он идет вперед, он шагает без цели:
Он вотировал тоже, он одобрил кредиты —
Из дисциплины, из дисциплины.

Сыплются времени часы песочные,
Льется алая кровь народов,
Всюду буйствуют меч и пламя,
Всюду всходит нужда и злодейство;
Лгут газеты баснями отчаяния:
В Берлине сообщают о революции в Париже,
А в столице Франции — о смерти Либкнехта.

— «Что же я сделал,— я, сын Вильгельма?
Интернационалист? Антимилитарист?
Смертельный враг Крезо и Круппа?
Обличитель мирового разбоя?»
Он идет вперед, он шагает без цели:
Он вотировал тоже, он одобрил кредиты,
Из дисциплины, из дисциплины.

Казаки, уланы, бельгийцы, французы,
Англичане, сербы убивают друг друга,
И льется кровь, рвет железо тело,
И пылают жилища, воют дети и женщины;
А министры, дипломаты, журналисты, политики
Раз'езжают в авто, спят с актрисами
И обжираются.

Он упрямо думает упрямую думу,
Его взор горит, его лоб набухает:
— Война войне!
Долой правительство,
Долой дисциплину,
Да здравствует Интернационал!
И Карл, сын Либкнехта, вскипает восстанием,
Подымает мятеж песенник возмущенья.

Лоб высоко набухает, взгляд окован сталью.
— Война войне — восстание — революция!
Брошенный, отверженный близкими даже друзьями,
Он один, один, как никто,— пусть так, пусть так,
ну, что же!
Так вновь воскрешает он идеал революции,
Растаптывая дисциплину, как ненужную ветошь.

Он призывает массы, он агитирует средь народа,
И когда канцлер вновь требует кредитов и доверия,
Он протестует открыто: «Мой голос будет подан
против!».

И его осмеивают и поносят,
И забрасывают оскорблениями,
Даже товарищи клеймят его глупцом, анархистом,
и безумцем.

Но Карл, сын Либкнехта, каменно-непоколебимый,
Твердо стоит под градом всех поношений:
— Война войне—забастовка—восстание—революция!
Он не устает повторять, он сыплет вокруг свои
лозунги,
И над бойней народов встает зарево его призывов,
И вновь оживает мужество, воскресает из мертвых
вера,
И вновь зеленеет грядущее и цветет золотыми
цветами.

Его забирают в солдаты.
Тело свободного человека стягивают общим мундиром.
— Война войне,— отвечает Либкнехт.

Его хватают, сажают в тюрьму, томят, мучат судами.
— Война войне, да здравствует революция! — отвечает Карл, сын Либкнехта.
И вот: вопреки властному, тяжелому, стальному гнету,
Вопреки винтовкам и пулеметам,
Вопреки неслыханной дисциплине,
То здесь, то там отвечают люди на зов героя,
И всходят опять зеленями радостные надежды.

Солдат Либкнехт, узник Либкнехт, сапожник Либкнехт,
Ты — наш восторг, ты — любовь наша,
Ты — магнит, влекущий к себе все мужественные силы,
Собирающий воедино все живые и чистые энергии,
Ты стал новым кузнецом общего братства народов,
Ты разбил союз тиранов,
Разорвал союз предательств,
Тебя глупость венчает почетом,
Но то истинный пурпур славы, славы твоей, о Либкнехт!

Бежит по устам народов слава твоего имени,
Пусть стоят в стороне спекулянты, лакеи, эстеты,
Недостойные произнести даже букв твоего имени;
Товарищ Либкнехт,
Ты для нас стал орифламмой чистоты и свободы,—
Слава ж тебе, безупречный герой Революции!

СТЕФАН ЦВЕЙГ

ПАМЯТНИК КАРЛУ ЛИБКНЕХТУ

Один,
Как никто никогда
Не был один в мировой этой буре,—
Один поднял он голову
Над семидесятью миллионами черепов, обтянутых касками.

И крикнул,
Один,
Видя, как мрак застилает вселенную,
Крикнул семи небесам Европы,
С их оглохшим, с их умершим богом,
Крикнул великое, красное слово:
— Нет!

ИОГАНН БЕХЕР

КРАСНЫЙ МАРШ

(Фрагмент)

Сегодня человечество вновь начинает свой марш:
Миллионы шагов стекаются со всех стран.
Звезды над нами колеблют неугасимый блеск.
Пронзительно кричит в даль труба:
Вперед! Марш! Марш!
Рабочие, служащие поют в рядах колонн.
Далеко впереди развертываются фронты борцов:
Марш!
Марш!
Тяжким шагом подходят из деревень батраки,
Следом топочут глухо массивы стад.
Воют сирены фабрик во всех городах.
Матросы ревут гудками судовых котлов.
Рабочие портов и верфей идут по мостам,
Сколоченным из неотесанных,
Свежих тесин.
Маляры, штукатуры сползают с шатких лесов.
Бригады машинистов отбивают такт,
Звеня циклопическими тисками и тяжестью рычагов.

Штрафные солдаты мерно держат шаг,
Построившись в батальоны новых полков:
Раз-два! Раз-два!

Потом,
По сотням,
Одетые в болтающееся рядно,
Арестанты,
Дезертиры,
Политические — из каменных мешков...
Вот он, народ,
Идущий мимо
Сотнями тысяч! Сотнями тысяч!
Высоко парят плакаты.
Горят световые лозунги.
Реет над всем
Огненным облаком
Алое знамя—
Марш!
Кого еще нет здесь, кто там спит?!
Выползайте все из своих конур!
Сегодня человечество вновь начинает свой марш —
В ногу, вперед!
В ногу, вперед!
Вот он сбывается, тысячелетний сон!
Довольно голода!
Довольно нужды!
Вы, угнетенные! Вы, забитые!
Народы-рабы!
В ногу!
В ногу!
Смотрите: уже почивших пронесли вперед —
Слава вам, павшие!
Вперед!
Марш! Марш!

М. МАРТИНЕ

ЗА СОВЕТСКУЮ РОССИЮ

(Песнь свободы)

Льву Троцкому,
в то время изганнику России, Германии, Франции, Испании, Швейцарии и узнику Канады.

Бледная, простертая по́ снегу, ожидающая смерти
с улыбкой,
Ты лежишь, одинокая, вдоль твоих ледяных океанов,
О, Россия,—
По твоим степям, по твоим лесам, по твоим луговинам,
Под ветром,
По излукам рек и озер, цветущих лазурью и снегом,
И вплоть до ржаных равнин и далеких гаваней юга,—
О, Россия
Фабрик, портов, городов, пожираемых малярией и тифом,
От Юга до Севера,
И от великой Германской Равнины,
До пропастей света и тьмы земли-праматери, Азии!

О, Россия,
В часы горчайшие ночи,
Когда всех нас тоска уносит
В зыбкий туман безумий, под мглистую темень
неба;
В час, когда мучит отчаяние
Даже тех, кто никогда не отчаивался;
Когда все мы никнем к обломкам, уносимым девятым валом,
Чтобы больше не знать и не видеть;
В час, когда души и руки,
И губы, словно влажны от крови;
О, Россия, ты, пребывающая в чернейшей пропасти ночи,
Ты, наполнявшая нас горчайшим из всех отчаяний,
О, Россия, вот ты восстала,
Свободная, юная, сильная,
Девственно улыбающаяся улыбкой лазури и снега,
Там, там, далеко, под северным великим сиянием.

Как ты поздно пришла, Освобожденная!
Как ты поздно пришла, Освободительница!
Взгляни — здесь больше нет уже ни земли, ни снега,
Взгляни — здесь только грязь, перемешанная с кровью,
И все эти трупы, холодные, окровавленные,
И все эти души,— о, взгляни на них!

О, как поздно пришла ты,
Россия, великая незнакомка,
Там, далеко, восставшая,

Озаренная северным сиянием,
Но еще бледная от могильной сени.

Земля Толстого, земля Достоевского,
И старого Бакунина, и старого Герцена,
Земля Российская, земля неистовая,
Страна людей, голодающих и мерзнущих,
Страна кнута и тюрьмы, и ссылки,
Расстреливаемых детей и молчания, и мученичества,
Жертв и палачества.
— О, Россия мятежная, Россия восставшая,
Вот ты зовешь своих сыновей...

Сыновья твои бродят по свету,
О, Россия радужных дней тысяча девятьсот пятого года,
О, Россия воскресшая,—
На пороге этой весны нового года бойни,
О, страна пробужденная, мы все, мы все — сыновья твои!

Помоги же нам, помоги, о, воскресшая из мертвых,
Взгляни сюда: среди грохота паденья Западного Мира,
Нераздробленные звенья твоей распавшейся цепи
Стягиваются вокруг нас и тяжко давят нам сердце.

Мы устали ждать и устали надеяться,
Но сегодня, с тобою, мы не так уж слабы,
О, Россия,— сегодня мрак не так уж темен.
Молодая Свобода, не угасай!

М. МАРТИНЕ

ПЕСНЬ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Во имя мира и во имя хлеба,
Там, далеко,
Крестьяне, рабочие, в серой шинели,
Во имя хлеба для тех, кто голоден,
Во имя мира для тех, кто под пулями,
Там, далеко,—

Во имя мира и во имя хлеба,
Все вы, все вы, там поднявшиеся,
Под пламенем ветра, великого, бьющегося,
Знамени алого, знамени рдяного,
Под пламенем Красного Знамени,—

Во имя мира крестьяне восставшие,
Рабочие, восставшие во имя хлеба,—
Привет, привет вам, за нас сражающимся.
Привет отсюда, с далекого Запада,
Привет наш Красному Знамени!

О, Красное Знамя,
Там развевающееся,
Там трепещущее, там заревеющее,
О, Россия,

Заря, поднимающаяся из-за крови,
Россия снежная, Россия пылающая,—
Привет России Красного Знамени!

Во имя хлеба, во имя свободы,
Во имя мира, за союз ваш, трудящиеся!
Книжные фразы, слова сочиненные,
Падающие с жаркой трибуны,
Бегущие к тысячам лиц
(О, лица взволнованные, бледные,
С трепещущим ртом, с окованным взглядом,—
Волны тысячи лиц, волнующихся в этом цирке!),
— Слова, отягченные душой и пламенем,
Вот они, вот они, живые, бьющиеся,
Ударами сердца, ударами крыльев,
В твоих складках плещущиеся, огневое знамя!

Огневое знамя, лоскут кровавый,
Лоскут, составленный из ваших лохмотьев,
Дети нужды!
Лоскут кровавый, кровью окрашенный,
Отсюда, отсюда, с полуноча Запада,
Привет наш Красному Знамени!

Против вас, спекулянты биржи,
Против вас, спекулянты крови
И нищеты.
Но за тебя, о, свет с Востока,
О, лоскут заревеющий,
Несущий пожар от города к городу,
За вас, крестьяне, за вас, рабочие,
Вставшие во имя земли и свободы,
Правосудия и хлеба!

Красное Знамя, пылающее,
Вейся, вейся повсюду,—
Наполни бедняцкую ночь, о, заря Востока!
Смотри, они ждут тебя,
Не смея надеяться,—
Глаза их погасли,
Сердца их застыли;

— Возьмите и глаза, и сердце,
Земля полна наших мертвых,
Погибших под чужими знаменами,—
Хозяева свои войны окончили,
А наши мертвые лежат неотмщенными.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

В шахтах, на фабриках,
В грязи вернувшиеся,
Как прежде, гнут спины.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

Умирают и под твоим факелом,
О, знамя семьдесят первого года,
Старое знамя свободы,—
Но кровь на камнях улиц,
О, Варлен,— тот, кто пролил ее,
Ее пролил не понапрасну.
— Пой же, ветер труда, в складках Красного Знамени!

ИОГАНН БЕХЕР

ПРИВЕТ НЕМЕЦКОГО ПОЭТА РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С Востока брезжит свет. Ему навстречу
Поэт раскрыл об'ятья.— Никни, ночь!
Твой старый мрак уже лучом рассечен.
Набега дня ничем не превозмочь!

О, серп златой! И ты, златой мой молот!
Алеющий безмерно небосклон!
Дрожит буржуа, смятением расколот,
И гибели почуя близкий холод,
Перед тобой колени клонит он.

Но будьте жестки! Бейте непреклонно!
Прощению — не час и не черед!
Ломайте вглубь! — Тогда лишь обновленно
Благое поколение взойдет.

Какие юноши! Какие жены!
Свобода, братство, равенство — гори!
О, дальних рас союз осуществленный,
Кровь с наших рук прощающе сотри!

Сегодня ж — зорче! Вкруг ползет измена.
Убийцы, отравители, лгуны,—
Твоих бойцов опутаны колена,
И новых жертв фаланги их полны.

Поэт кричит вам: жестче! Свежи раны!
Сегодня милосердие есть ложь!
Лишь ты, народ, дашь миру мир желанный,
Ты миллионам хлеб дашь невозбранный,
И божье царство на землю сведешь.

Привет тебе, Республика Советов!
Демократиям Запада — конец!
Уж Альбион растратил силы дедов,
И Франции бесславно пал венец.

Палач торжествовать не может:
Его стремительно низложит
Дней наших непреклонный суд.
Напрасно высятся ограды,
Рабов восставших мирриады
Уже свои оковы рвут.

Хвала борцам неукротимым!
Смотри, каким веселым дымом
Жилища бедноты цветут!
Сияет ангел с баррикады,
И чрез грохот канонады
Напевы мира к нам растут.

ЭРИК МЮЗАМ

СОВЕТСКАЯ МАРСЕЛЬЕЗА

Чего вы медлите, народы?
День наростает все быстрей.
Вы ожидаете свободы,
Когда свобода у дверей.

Иль вам не слышен зов с Востока?
Он к вам летит, он ищет вас —
Освобожденья близок час,
И он раскинется широко.

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Дрожит банкир за целость ренты,
Но подкуп — прочный пьедестал,
И охраняют парламенты
Его священный капитал.

Но зерен, солнцем разогретых,
Не удержать в земном гробу:
Молчи ж, богач! Твою судьбу
Решит народ в своих советах.

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Солдат, крестьянин, пролетарий,
Смелей за дело нищеты!
Ломай тем яростней, чем старей,
Те стены, где томился ты!
Тебе пример дала Россия,
Уж венгры с нею стали в ряд —
Чего ж ты спишь, пролетариат?
Что дремлют массы трудовые?

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Пора кончать с бедняцким горем!
Для битв нехватит ли огня?
Мы наступление ускорим
Социалистического дня.
Сбылось учителей вещанье:
В обломках старый мир лежит,

Уже Советский строй крепит
Счастливых стран соревнованье!

Вставай же, беднота, на бой,
Снимай винтовку с плеч!
Свобода — клич твой боевой,
Советы — грозный меч!

Ж. ШЕННЕВЬЕР

ПОЭМА О РУССКОМ РЕБЕНКЕ

Далеко, далеко, в глухой избе,
У края снегов и сосновых чащ,
Плачется тихо больное дитя,
Дитя, не знавшее румянца щек.

Лихорадка из'ела его лицо,
Голод выявил каждую кость,
Его тело высохло, словно плетень,
На котором развешивают белье.

«Спи, уже поздно», говорит ему мать.
«Зимой бывает поздно всегда»,
Тихо шепчет больное дитя,
Потому что ему уже страшен сон.

Вот его сказкой баюкает мать:
Про Бабу-Ягу, Костяную Ногу,
У которой на курьих ножках изба
Может вертеться по всем ветрам.

Вот напевает она ему песнь:
Про колдунью с косой, зеленей травы,
У которой голос так нежен и тих,
Точно у квакушки из болотных вод.

Вот она сказывает былинный сказ:
Про Владимира-Солнце, про стольный град,
Про Новгородского богатого гостя, Садко,
И про семь дочерей Морского Царя.

■

Она бьет поклоны всем святым
И золотонимбому своему Христу,
Но зима сильнее всех богов,
Богов, которых она зовет.

Он не откроет больше глаз,
Дитя, не знавшее румянца щек,—
О, мать, ему уж не нужно слов,
Бедный птенец опочил навек.

Так он легок и так иссох,
Лихорадкой замученное дитя,
Что только и виснет его голова,
И тяжести больше нет ни в чем.

Так он легок и так иссох,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Что матери даже не надо сгибать
Дрожащих рук, чтоб его поднять.

Чтоб его поднять и его простереть,
Тихо шатаясь от безмолвных слез,
Неумолимой пустоте
Европы, наведшей незрячий взор.

■

Умер ребенок, и в том же селе
Умер ребенок еще другой,
И в ближнем городе вместе с ним
Умерло сто детей еще.

Зима Востока, зима без границ,
Зима Тобола, зима Оки,
Тебе нехватит твоих снегов,
Чтобы погибших прикрыть детей!

■

Он умер подвечер, октябрьским днем,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Он умер подвечер, октябрьским днем,
Что был бы яснее, чем летний день,

Когда б его не гнела тоска,
Горькая тяжесть материнских слез,
Что выжгла на нашем поникшем лбу
Молчанья Каинову печать.

■

Народ Европы, народ столиц,
Толпы театров и кабаков,
Бедный Васютка, дорогой сынок,
Мертв из-за ваших песен и игр.

Он мертв потому, что стальным кольцом
Сжимают армии всех государств
Страну, обращенную ими в тюрьму,
И воздух, которым нельзя дышать.

Он мертв потому, что живет союз
Безумья и Ненависти — двух сестер,
Адским огнем бороздящих мир,
Дряхлеющий мир, идущий ко дну.

Он мертв, потому что мы сносим стыд —
Жалкие люди! — терпеть и знать,
Что он умирает, и каждый день
Он должен вновь и вновь умирать.

Он мертв, потому что на эту смерть
Мы отвечаем только слезой.
Ребенок, не знавший румянца щек,
Мертв, потому что мы — ничто!

МОСКВА

О, Москва, златая птица,
— Dorogaja *)!
Мчишь ты молний колесницы,
К светлой цели светел путь!
Широко раскинут вход!
— Dorogaja!
Широко народ идет!
— Dorogaja!

Ночью в небе звезды тают,
— Dorogaja!
Ночью девушки гадают,
К светлой цели смутен путь!
Но уж утра ждут цветы,
— Dorogaja!
Час пришел, вставай и ты!
— Dorogaja!

Бей во вражье сердце смело,
— Dorogaja!
И вперед, чрез вражье тело,—

*) Дорогая!

К светлой цели ясен путь!
Как сердца тобой горят,
— Dorogaja!
О, Москва, священный град!
— Dorogaja!

Не навек богатый давит,
— Dorogaja!
Беднота отныне правит,—
К светлой цели верен путь!
Знамя красное горит,
— Dorogaja!
Знамя красное парит!
— Dorogaja!

Над голодным краем знамя,
— Dorogaja!
Очистительное пламя,—
К светлой цели труден путь!
Но готов бальзам для ран,
— Dorogaja!
Поднимайся ж! бей! тарань!
— Dorogaja!

АНРИ ГИЛЬБО

ЛЕНИН

(Фрагмент)

...Кремль! — город средь города.
Восток, кирпичи, купола, соборы.
Древняя резиденция царей и великих князей.
Сегодня — это ВЦИК, Совнарком, Ленин.
В Красном Кремле строится Коммунистический Интернационал.
Те, кто после тюрем, каторги, пыток, Сибири —
Эмигранты Женевы, Цюриха, Брюсселя, Парижа, Нью-Йорка —
Вдруг пошатнули мощные, золотые колонны храма,
Вот они ставят фундамент новых законов и прав.
Ленин, исконный россиянин, прямодушный друг народа,
Ленин, стремительный вожатый мирового пролетариата,
Грозный раскольник, неистовый большевик, ненавидимый, невозмутимый,—
Он все так же скромен, жизнерадостен, тонок и ироничен.
Своим марксистским стилетом он пронзает Лонге, Мартова, Каутского.

Ясный, непоколебимый, на своей капитанской вышке,
Он ведет свой красный корабль сквозь гущу
бесчисленных рифов.
Его мозг все рассекает и все сочленяет заново,
Его глаз все замечает и все зондирует донизу,
Точным своим компасом он выверяет огромные
планы.
Новый Лютер, но более истинный, более широкий,
более прямой, более последовательный,
Он создал схизму Интернационала.
Циммервальд и Кинталь — первые, решительные
вехи.
Шагая чрез трупы проституток, куртизанов,
изменников,
Строит он новый храм, пролетарский, мировой,
атлетический,
И уже мощные органы извергают свои фуги и
свои осанны.
Булла за буллой, он анафемствует, отлучает
ренегатов,
Он играет королями, принцами, монархами,
президентами.
Ленин: — отважное имя, могучее, звенящее,
всеобщее,
Оно несется сквозь города, заводы, поля и деревни
И крепко спаивает угнетенные, но поднимающиеся
народы.
Он, долго живший в низенькой комнате, в Цюрихе,
Шпигельгассе, 12,—
Телефоны, телеграфы, радио теперь разносят каждое
его слово и действие.

Фараон современности, конструктор дерзновенный и
быстрый,
Твоя маска из камня, твой образ из бронзы восторжествуют над временем.
В металл, более чистый, чем золото, перельются
все клеветы угнетателей.
О, Владимир Ильич,
Делатель и вдохновитель революций,
Упрямый теоретик, великий и блистательный
реализатор,
Пролетарии всех стран тебя приветствуют и славят
твой гений, твое знание и твою мудрость!

■

МОСКВА

Пошел, пошел извозчик, живей погоняй свою
лошадь
По мостовым булыжным кривых московских улиц;
Пошел, пошел извозчик, живей понукай свою
клячу,
Сплевывай и ругайся, обращайся ко всем прохожим,
Сморкайся и зеленой слизью
Марай рукава кафтана, когда-то бывшего синим.
Пошел, пошел, извозчик, живей погоняй свою
лошадь,
Сыпь своими проклятьями, раскидывай свою ругань,
Лишь вези быстрей и проворней!

■

То не здание из железа, не бетонное укрепленье,
Не вокзал, не мост, не элеватор, не народный дом,
не электрическая станция,—
Но пестрое и странное строение,
Как шатры Василия Блаженного,
У которых купола расцветают, многоцветные,
многообразные,
Как гигантские набухшие фрукты, созревающие
средь тропиков.
И повсюду сцепление ритмов громыхающей, тряской
пролетки
И советских автомобилей, и автобуса Коминтерна.

■

Вдоль Никитской, где, издырявленные, выгибаются
тротуары,
В черных обручах, хлюпая жидкостью,
Тянется поезд баков с нефтью;
Потные, но могучие идут двойные упряжки;
Букинисты свою книжную ветошь выставляют
прямо на воздух;
Рабочие, служащие, красноармейцы, толпящиеся
вдоль по стенам,
Читают «Правду», «Известия» и телеграммы «Роста».
. . . . . .

■

Выше — изломанный перекресток,
Пересечение улиц, нагромождение развалин,
На бульваре высится остов, металлический,
искривленный;

В центре из кирпичей обожженных сложена целая пирамида,
Это — дом, где юнкера засели в октябре семнадцатого года.

Еще выше — телефонное зрелище:
Постукивая подошвой, приладив трубку к уху,
Монтер проверяет линию, расщепляет и связывает нити.

■

В сапожищах, укутанные по нос, напоминающие гномов,
Крича: «Папиросы, спички»,
Галдят мальчишки и пристают к прохожим.
Навьюченные мешками, вооруженные лукавством и нюхом,
Фамильярничая, хватая руками,
Тыча и льстя своим проблематическим клиентам,
Татары торгуют одежду и всякошь.

■

Пьяница, стяжатель, вор и забулдыга,
Дворник Василий метет тротуары;
Его кличут, рвут на части,— он всем обещает помощь,
Но ничего,— он вмиг все забывает, пьянствует и бездельничает.
Порой он готовит дрова, собирает их в охапки
И похваливает свою датскую пилу,
Сверкающую новыми белыми зубьями.

. . . . . .

■

Пошел, пошел, извозчик, живей погоняй свою
лошадь
По мостовым булыжным кривых московских улиц
Иль по изрытому и редкому асфальту вдоль
бульваров;
Сплевывай и ругайся, обращайся ко всем прохожим,
Называя меня «барин» или «товарищ»,— все
едино!
Только пошел, извозчик, живей погоняй свою
лошадь,
Сыпь кругом свою ругань, раскидывай проклятья,
Лишь вези быстрей и проворней!

■

Перед Иверской богоматерью,
Мерцающей и смутной, среди стрел горящих свечек,
Оборванные и нарядные люди кладут поклоны,
И текут их мысли и их мистические надежды.
Разминая руки и шеи, хлопая себя по груди,
Извозчики состязаются в ругани, плевках и сопеньи.

■

На Городской Думе, большой и красной,
Чей фасад еще кажет игру пулеметов,
Черным свинцом своих оперений
Комья ворон и галок тесно пестрят по фронтону,
Взрезывая воздух карканьем, мрачным и крепким.

■

. . . . . .

Скандируя пенье, мерно шагая,
Прорезывая площадь серой цепью,

Красная армия идет к «Метрополю»
В прямоугольной и движущейся симметрии.
Тяжко дремлющим храмом высится Большой Театр;
Полихромные ритмы «Игоря», «Бориса» иль «Салтана»
Обезцвечивают алость и золото нависшей уродливой
лепки,
Когда четкий и патетический Голованов ведет свой
оркестр.

■

Ноябрь — уже на улицах ходят в звериных шубах,
В светлых овечьих мехах, в армяках винного цвета;
Подобные слоновьим ногам, с земли подымаются
валенки;
Пронзительно и непрерывно продавцы предлагают
Подсолнухи, яблоки и маленькие французские булки.
Наполнив свои утробы сосной и березой,
Медленные и хриплые, грузно скользят трамваи.
Нежно прижимая к сердцу, точно новорожденного
ребенка,
Торопливо, но осторожно люди тащат железные
печки.

■

Тяжкий и полусонный, точно сурок гигантский,
Красный Кремль вздымает сумму всех своих стилей
И совокупность своих учреждений.
Мозг извилистый, лоб набухший, взгляд косящий
и быстрый,—
Ленин ведет работу непрерывно и дерзновенно;
Его рука сжимает руль Партии и Государства;

Проницательный, он предугадывает далекие и
грозные водовороты.
Он умеет вести игру переменами скоростей и
педалей.
Лампочка телефона вспыхивает: «Алло!», он
слушает и отвечает.
Активный и лаконичный, за своим столом
пустынным
Рыжий грузин Енукидзе принимает, пишет,
телефонирует.
Очкастый, зубастый, быстрый Радек сочиняет и
диктует.
А там, во Дворце Потешном,
С ало-желтыми и зелеными арабесками,
Анатолий Васильевич составляет какой-нибудь
доклад или пьесу,
Между тем как в его приемной, отражаясь в черной
глади рояля,
Терпеливые, его ждут и говорят меж собой
посетители.
И вдоль всего Кремля, тяжкого и громадного,
Подземный, воздушный, звенит многосложный.
голос телефона.
Запертые и немые, отдыхают кремлевские соборы,
И невидимый средь строений, между сложенных
штабелей дров,
Прячется Спас-на-Бору, замкнутый и одинокий.

А тут, против Кремля: нервный центр Советской
России,

Высится обширный квадрат здания «РКП (большевиков)».
Знаменка, чье устье посвящено Красному Марсу,
Летом кажется улицей мирной, осененной листвою.
В уединенном доме, замкнутом и молчаливом,
Жизнерадостью, восторгом, гореньем своих полотен
Ван-Гог, Моне, Матисс, Ван-Донжен, Сезанн, Дерен
Еще более оттеняют мрачность усыпальницы
Третьяковых.

■

Не стой же, пошел, извозчик, трогай, трогай скорее,
Вези меня к Красным Воротам, дальше вези, к вокзалам,
Цеди сквозь зубы ругань,
Сквернословь и плюйся, марай кафтан своей слизью,
Но только пошел живее.
Ты точно стоишь на месте, вези же меня через город.
Пошел, пошел, извозчик, живее трогайся с места!

■

Полифонии, полихромии
Бедности и богатства,
Темные переулки, просторные улицы,
Краски Европы, спорящие с ритмами Азии,
Одноэтажные домики, многоярусные фасады,
Мертвенный Академизм, лязгающий Футуризм,
Сказочное смешение двух рас, двух столетий.
Молниеносный и легкий Рольс-Ройс,

И тут же, рядом, медленный караван азиатский.
«РСФСР» — «МПК»; «Наркомпрос» — «Наркомпрод»,
Потом «Гастрономия», «Трактир» и «Кондитерская»,
И буйное круговращение миллионов бумажных денег,
И мена, и торговля, и неистовая спекуляция.

■

«Народная столовая» — ее неустанный говор
Дышит супом из воблы, вызывающим тошноту.
В тесном, темном подвале, в отдаленном переулке,
У столов, в клубах дыма, пьют терпкие кавказские
вина.
В стильном и старинном особняке балерины,
На безгрешной глади скатерти широкостельной,
Блины громоздятся, икра воздымается,
И светится водка бесцветно и белесо,
Между тем как в комнатке пищей и оголенной,
Близ агломерата хлеба, подобного земляным
комьям,
Алая и торжествующая сверкает тарелка борща.

■

На Трубной торгуют хлебом, мясом, сосисками,
яйцами,
Мебелью, одеждой, ломом и непонятными мне
вещами;
На нетвердых столах радостно поют самовары.
Спекулянты, красноармейцы, крестьяне покупают,
кишат и толкаются.
Пронзительные и глухие смешиваются крики,
призывы, ругательства.

Но вот из небесной коробки, затянутой серой
тканью,
Плотно, мягко, бессчетно, сыплются кристаллы
снега.
Все прозрачнее, все реже день вышрядает нити,
И ширятся и плотнеют густые заставы тумана.

■

Тут перемежаются, там проникают друг в друга
Хрупкие конусы света и массивные кубы тени.
Подобны опрокинутым кубарям
Мохнатые, смутные прохожие.
От земли поднимается шум, многослоистый,
полиморфный.

Все странно, темно и таинственно,—
Одни лишь светы кофеен, где лучатся белые
скатерти,
Да маяки аптек, красные и зеленые.

■

Тверская. Старое кафе «Домино», как раскаленный
лист железа:
Выкидываются новые коленца: это клуб «Союза
Поэтов»;
Председатель Союза извергает неистощимую иронию,
Из'ясняя посетителям изощренные тайны
модернизма.

■

Невдалеке, по улице вверх, соперничая, титуляясь
новаторами,

Имажинисты читают, декламируют свои устаревшие
вещи
Грузно скучающим зрителям, лакеям и проституткам,
Между тем как напротив, в «Люксе», в отеле
Коминтерна,
Золото освещенных окон прорезывает сумрак.

■

Москва — это Коминтерн, это — Кремль, это —
Советская Россия,
И это немножко — весь мир, в его круженьи,
в его пульсации,
Надежды, брожения, смеси, осадки, соединения,
Вся жизнь, вся химия, вся динамика...

Москва, 1920 г.

■

ВАСИЛИЙ КАЗИН

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

РЕКИ ОГНЕННЫЕ

ИЛЬЯ РЕПИН

СОВРЕМЕННЫЙ КУДЕСНИК

А. ЛИБЕДИНСКИЙ

В КОЛЛЕКТИВЕ

АЛ. ПЕРОВСКИЙ

ПЛАСТЫ

ОЧЕРКИ

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

РАССКАЗ ОБ АКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

М. ГОРЬКИЙ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

В. ЮРЕНЕВА

АКТРИСЫ

Л. ТОЛСТОЙ

ПЕТР I. НЕИЗДАННЫЕ РАБОТЫ

Ю. ВОЛИН

КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА

ВЛ. КИРИЛЛОВ

ПРОЛЕТАРСКИЕ ПОЭТЫ

АНТОЛОГИЯ

С. ШТРАИХ

ЗАГОВОР И ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

ДАВИД ФРИДМАН

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ

И. Ф. ЛЕОНТЬЕВ

УСТАЛОСТЬ

БЕЛА ИЛЛЕШ

ЗОЛОТОЙ ГУСЬ

Г. ГАУПТМАН

МАСЛЕНИЦА

ЦЕНА 15 КОП. 2499

сер 1954.
342

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

АДРЕС:

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телефон 5-51-69.

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“.